

МИХАИЛ СОКОЛОВ

Ответная реплика

Внимание коллег является самым дефицитным ресурсом в академическом мире. Никто не может ознакомиться со всем потоком статей и книг, и каждый должен выбирать те из них, которые покажутся ему интереснее и полезнее прочих. Свидетельства того, что наша работа привлекла внимание коллег и стала предметом их обсуждения, являются поэтому наиболее важным символом академического статуса — зримым доказательством того, что нам отдали предпочтение перед бесчисленными другими.

Однако в удовольствии, которое я получил от чтения реплик в дискуссии, начатой «Антропологическим форумом», удовлетворение тем, что в ее основу легла именно моя статья, осталось на втором плане. Чисто интеллектуальное наслаждение, которое все мы получаем, открывая, как много граней есть у любого явления и под каким количеством углов на него можно посмотреть, оказалось значительно сильнее. В этой ответной реплике я не смогу воздать должное ходу мысли каждого из участников дискуссии и изобилию цитируемых им или ею фактов — и не буду пытаться это сделать.

Вместо этого я попробую — на правах подводящего итоги — обозначить некоторые точки соприкосновения между всеми нами. Как и в самой статье, мое рассмотрение здесь будет ограничено случаем социологии — хотя, как наглядно продемонстрировали отзывы, ее проблемы не являются нетипичными для соседствующих дисциплин.

Часть авторов в своих откликах предложили альтернативные интерпретации истоков статусной неопределенности, царящей в российской науке. Я рискну суммировать их соображения следующим образом. Развитие науки происходит в ходе жестокой борьбы за выживание, которое ведется между теориями и создающими их учеными. Двигателем этой борьбы являются экономические интересы индивидов, которые рассчитывают, что они улучшат свое положение на рынке труда за счет успеха теории, в развитие которой они инвестировали свои силы и время. Интеллектуальная репутация, завоеванная на «рынке идей», становится торговой маркой, увеличивающей стоимость их услуг в качестве преподавателей, экспертов, исследователей. Однако этот механизм работает лишь тогда, когда выполняется несколько условий: (1) столкновение конкурирующих взглядов способно выявить победителя; (2) информация об исходе доступна всем заинтересованным лицам; (3) услуги победителя получают большую рыночную ценность, чем услуги проигравших; и (4) эта большая рыночная ценность в наличествующих институциональных условиях может быть превращена в индивидуальные выгоды, такие как рост заработной платы или улучшение условий труда. Там, где эти условия не выполняются, ученые лишаются значительной части стимулов для выяснения того, чьи идеи «лучше», а заодно и для разработки идей как таковых. Статусная иерархия не возникает, поскольку никто не готов предпринимать усилий, нужных для ее появления.

Татьяна Зименкова указывает на то, что первое из четырех перечисленных условий не выполнимо в полной мере в силу самой природы социальных наук, а Марина Волохонская и Владимир Гельман — на то, что третье и четвертое не выполняются в силу специфики российского рынка академического труда. Гельман считает, что интеллектуальная репутация в России не становится индивидуальным конкурентным преимуществом в силу многих факторов, одним из которых является низкая мобильность рабочей силы. Вместо одного национального рынка труда мы наблюдаем множество локальных рынков, часто заключенных в стенах одной-единственной организации. На каждом из них появляются свои теоретики (как правило, по совместительству возглавляющие ту же самую организацию), которые могут беспрепятственно эволю-

ционировать в своих интеллектуальных исканиях в любую удобную им сторону.

Победа над кем-либо в ученой дискуссии в этой институциональной конфигурации не приносит никакой карьерной выгоды, но способна обеспечить большие неприятности. Выставив идиотом декана единственного в городе факультета социальных наук, молодой доцент гарантирует себе только то, что в обозримое время не станет профессором — ни в том же вузе, ни в каком-либо другом, даже если весть о его успехе распространится по всей стране, поскольку переезд в другой город экономически крайне затруднен. Напротив, провозгласив себя лояльным учеником своего начальника, можно получить значительные преимущества при защите и административном продвижении. Тот самый акт отречения от великого наставника, который послужил началом многих самых блестящих карьер в западных социальных науках (вспомним неверных учеников Фрейда или Парсонса), послужил бы в России их концом. Следование по кратчайшему пути к успеху в интеллектуальной конкуренции в подобной системе временами скорее затрудняет, чем обеспечивает академическую карьеру.

Дополнительные соображения относительно влияния ситуации на академических рынках и институциональных особенностей российской науки на продуктивность российских ученых предоставляет автоэтнографическая заметка Марины Волохонской. Она описывает издержки, которые связаны с включением в научную дискуссию ассистента кафедры — человека в том самом статусе, в котором обычно делаются первые и решающие шаги к славе. В этом описании скрыта глубокая ирония. В российских социальных науках оказывается снят один из многократно отмечавшихся американскими и западно-европейскими исследователями парадоксов их институционализации. Этот парадокс состоит в том, что рыночная ценность ученых, как правило, определяется вовсе не их способностью выполнять ту работу, за которую им непосредственно платят. Большинство социологов (а также политологов, психологов и представителей других соседствующих дисциплин) получают большую часть своих доходов как преподаватели, но их котировки на рынке труда определяются вовсе не их способностью учить, а индексом цитирования и импакт-фактором журналов, в которых они опубликовались.

Это видимое противоречие исчезает, когда мы учитываем, что выдающиеся ученые передают своим ученикам не только содержащуюся в хрестоматиях информацию, но и связи, а также некое неартикулируемое «личностное знание», позволяющее тем впоследствии внести вклад в науку самим. «Лич-

ностное знание», как и специфический социальный капитал ученых, однако, имеет ценность только для тех, кто ориентирован на академическую карьеру. Для всех остальных они бесполезны. Образование по социологии в России в основном получают студенты, в мыслях не имеющие становиться социологами (психологами, этнологами и т.д.). На запросы именно этого контингента — для которого репутация преподавателей не является конкурентным преимуществом факультета — вынуждены ориентироваться образовательные учреждения.

Хотя того факультетские администраторы или нет, но в сложившейся ситуации дисциплинированный ассистент, способный прочитать 14 лекций по разным предметам в неделю, в свободное время изваять 3 учебно-методических комплекса и не поставить на экзаменах ни одной двойки, чтобы, не дай Бог, никого не подвести под отчисление, является для них значительно более ценным приобретением, чем капризный профессор, печатающий раз в год высокоцитируемую статью в престижном американском журнале. Интеллектуальная репутация остается ресурсом в этой системе — но только одним из второстепенных.

Реплика Татьяны Зименковой указывает на еще одно обстоятельство, делающее авторитет в социальных науках столь неопределенным, на этот раз специфическое не только для России. Авторитет завоевывается через принуждение коллег к признанию собственных достижений. Однако, как свидетельствует вся история социальных наук, принудительная сила риторического арсенала, находящегося в руках их представителей, столь невелика, что затруднительно указать хотя бы на одну теорию, изобретенную социологом, которая завоевала бы со временем всеобщую поддержку его или ее коллег. Германская социология, из прошлого и настоящего которой Зименкова черпает свои примеры, институционально организована совершенно не так, как российская, и несравненно более благополучна экономически. Но и она состоит из множества разрозненных групп со своими представлениями о науке и с невысоким мнением друг о друге. Не свидетельствует ли это о том, что недостаток консолидации объясняется не организацией научной дисциплины, а особенностями ее предмета?

Это интересный аргумент, и в нем, безусловно, есть своя правда. Я не могу сейчас привести никаких доводов за то, что существуют качественные различия между способами производства профессионального авторитета в России и Германии, кроме чисто анекдотических. Хуже того, я не могу даже придумать, как такого рода данные должны были бы выглядеть.

Анекдотические примеры, тем не менее, присутствуют в изобилии. Найдутся ли в германской социологии фигуры, аналогичные профессору Добреневу, декану соцфака МГУ, сохраняющему позиции во всех мыслимых государственных органах, определяющих развитие дисциплины, несмотря на существование доказанного плагиата в его работах? Аналогичные профессору Григорьеву, автору «социологии жизненных сил», долгое время возглавлявшему единственный социологический факультет (и диссертационный совет) в Алтайском крае? Профессору Немировскому, посвятившему себя (и своих многочисленных аспирантов) развитию конспирологической теории заговоров — и возглавившему факультет социологии в только что созданном Сибирском федеральном университете? И так далее, и тому подобное.

Тот факт, что из германской профессиональной ассоциации никто не был исключен за всю ее историю, социологически крайне интересен, но может трактоваться двояко: или как следствие невозможности привести в действие санкции против нарушителей норм профессионального кодекса в силу слабости контролирующих механизмов, или — совершенно противоположным образом — вследствие того, что нормы эти вводились в действие так эффективно, что случаев для показательной кары девиантов просто не представлялось.

За всю историю американского правосудия уголовное наказание за людоедство применялось лишь трижды — но это вряд ли надо трактовать как указание на слабость правоохранительных органов США или свидетельство снисходительного отношения к людоедам.

Более убедительным аргументом, впрочем, может быть простой эксперимент, который каждый имеющий доступ к студентам-социологам в состоянии поставить. Попросите группу пятикурсников назвать нескольких ведущих германских социальных теоретиков — Хабермас, Луман и Бек наверняка будут упомянуты. Попросите вспомнить нескольких российских теоретиков — и они, скорее всего, встанут в мучительный тупик, назвав в конце концов кого-то из своих преподавателей и авторов российского учебника, который им случилось читать.

Порождение значимой научной репутации, как следует из всего сказанного выше, представляет собой нетривиальное социальное достижение — и германская социология раз за разом демонстрировала свою способность к нему, а постсоветская не сделала этого ни разу. Хорошо зная какой-то социальный мир и будучи близко знакомым с его проблемами, легко увидеть их сходство с проблемами другого социального мира, известного

хуже, но это сходство в принципе может скрывать разницу в степени. Я подозреваю, что наши расхождения с Татьяной Зименковой обязаны своим возникновением этому эффекту, но только исследования, в которые российский и германский случай войдут на равных правах, покажут, кто из нас сильнее поддался оптической иллюзии.

Силу подобных иллюзий можно ощутить, сравнив короткую реплику Питера Ратленда, нашедшего — вопреки моим предположениям — американскую социологию полным подобием российской, и развернутый текст Джейн Зависки, подтвердившей высказанные мной догадки. Основываясь на тех же фактах, что и в сравнении с германским случаем (существует ли американский Добренков? Как получается, что американские студенты знают американских теоретиков?), сложно предположить, что разница отсутствует вовсе. Каждый, кто когда-либо проглядывал разделы рецензий в американских журналах, знает, что американская социология состоит из «теоретических групп», придерживающихся не самого высокого мнения друг о друге. Однако есть невысокое мнение и невысокое мнение. С точки зрения ортодоксального теоретика рационального выбора, этнометодология является весьма одиозным предприятием. Но чувства Коулмэна к Гарфинкелю — насколько бы глубоким ни было его неодобрение — все же отличаются, вероятно, от тех, которые большинство читателей этой статьи испытают к профессору, использующему в качестве источника данных «Протоколы сионских мудрецов» или предполагающему, что он в состоянии исследовать общественное мнение, прислушиваясь к вибрациям космических лучей, проходящих сквозь его астральное тело.

В своей статье Зависка показывает, каковы механизмы, которые обеспечивают консолидацию системы дисциплинарного авторитета в американском случае, и поднимает важный вопрос о социальной цене ее поддержания и о встроенных в нее механизмах дискриминации. Так, географическая мобильность гарантирует рыночную ценность интеллектуальных репутаций, а они создаются за счет выработки теорий и фактов, выживающих в борьбе за существование с другими теориями и фактами.

Социальная цена, которую сообщество платит за поддержание в действии механизмов интеллектуальной эволюции, высока. Одной из составляющих этой цены является несправедливость, которую она постоянно порождает. Символы профессионального статуса — как элегантно демонстрирует Зависка — приобретаются за счет целенаправленных усилий. Ресурсы, необходимые для осуществления подобных усилий, однако, лишь

частично совпадают со свойствами, на которые символы (предположительно) указывают.

Частые перемещения между университетами требуют наличия некоторой известности и признания, а известность и признание, в свою очередь, даются легче тем, кто талантлив и предан своему ремеслу. Но способности и целеустремленность являются не единственным ресурсом, который обеспечивает обладание соответствующим символом. Наличие семейных обязательств или каких-либо других обстоятельств, привязывающих индивидов к одному месту, затрудняет приобретение символов этого типа, каковы бы ни были остальные характеристики индивида. Но кристаллизовавшиеся в виде строчек в резюме символы уже не допускают однозначной обратной дешифровки, и мы не можем установить, был или не был недостаток мобильности следствием недостатка профессионально релевантных свойств. Как и всегда в обществах, опирающихся на современные психологические идиомы, структурно обусловленные неравенства легко мимикрируют под личностные свойства.

Другая часть авторов, принявших участие в дискуссии, почтила особым вниманием вымышленного персонажа, глазами которого я предлагал взглянуть на российские социальные науки — чиновника, ответственного за обеспечение «мирового лидерства» России в этой сфере. Андрей Стародубцев, Кирилл Титаев и Елена Здравомыслова с разных позиций нашли эту отправную точку неудачной. Андрей Стародубцев сравнивает этого чиновника с теми реальными чиновниками, которых наблюдали исследователи политического процесса, и находит разительное несходство. Земные чиновники погружены в рутину, предрасполагающую их скорее к тому, чтобы избегать неудач и скандалов, чем к тому, чтобы идти кратчайшим путем к великой цели. Имея дело с таким контрагентом, как академические институты, обладающие достаточными символическими ресурсами, чтобы устроить громкую публичную контратаку против «горе-реформаторов, губящих российскую науку», министерство воздерживается от любых резких движений и компенсирует любой шаг вперед многочисленными отступными.

Кирилл Титаев дополняет эти соображения анализом того, как на самом деле происходит практическое проведение государственной политики в сфере науки. Принятие министерством каких-то постановлений не приводит, разумеется, к моментальной смене практик продвижения и распределения ресурсов во всех академических институтах. Если они и оказывают какое-то воздействие (что происходит далеко не всегда), то только в ходе переговорного процесса между административными органами, ответственными за их воплощение, и руко-

водством учреждений, которых они касаются. В ходе этого процесса, показывает Титаев, любые политические меры подвергаются трансмутации, часто превращающей их во что угодно, кроме того, чем они должны были бы стать.

Стародубцев и Титаев сходятся в том, что, даже будь вопрос о методах исчисления академического статуса совершенно ясным, министерство вряд ли осмелилось бы перестроить свою политику, пренебрегая сложившейся иерархией. И даже решишь оно сделать это, практическое воплощение подобной политики было бы доверено множеству заинтересованных сторон — групп министерских чиновников и групп чиновников академических — которые выстроили бы сложную систему компромиссов, сводящую смысл всего предприятия к нулю.

Разумеется, я согласен. История нынешних сокращений в РАН показательна в этом отношении. Они инициировались министерством с целью избавиться от «кадрового балласта» и должны были коснуться мало публикующихся сотрудников (в основу переаттестаций были положены баллы ПРНД, учитывающие прежде всего количество и характер публикаций с указанием на импакт-факторы журналов). Фактически произошло следующее. Руководство РАН распределило квоты на увольнение в равной пропорции между всеми подразделениями, а те — между всеми институтами. И несомненные лидеры, и несомненные аутсайдеры получили указание произвести равные сокращения. Как и следовало ожидать, способ вычисления баллов оставлял огромное пространство для административного маневра.

В итоге в некоторых институтах переаттестации зачастую превратились в способ сведения счетов. В других — более сплоченных — коллективах основным соображением при принятии решений об аттестации стала нищенская пенсия, на которую пришлось бы отправлять уволенных сотрудников старшего возраста. Чтобы избавить их от этого, руководство института часто предпочитало не переаттестовать тех, кто мог сам о себе позаботиться, — например тех, кто проводил много времени за границей. В итоге жертвами сокращений обычно становились сравнительно молодые (и поэтому не входящие в административное ядро) сотрудники, обладавшие достаточной известностью и связями за пределами института, чтобы прожить за счет заказов или грантов, т.е. те самые люди, кого задуманная реформа должна была поддержать.

Кирилл Титаев указывает на отечественный образец «истории успеха» в консолидации авторитета в социальных науках — область маркетинговых и консалтинговых исследований, сделав-

шую, по словам Титаева, решающие шаги в этом направлении в течение последних пяти лет. Он интерпретирует это как следствие того факта, что вместо многочисленных курирующих групп с меняющимся составом символы в этой области чаще присваиваются индивидами, несущими, таким образом, прямые репутационные потери в случае, если носитель символа как-либо его опорочит.

Я добавил бы этому еще два обстоятельства. Первое из них возвращает нас к статье Татьяны Зименковой: компетентность или некомпетентность в мире консалтинга (во всяком случае в некоторых его областях) быстро приобретает недвусмысленное количественное выражение. Рекомендации по вложению денег, приводящие к их потере, или рекламная кампания товара массового потребления, приносящая гораздо меньшую финансовую отдачу, чем в целом приносят такие кампании, ставят под сомнение профессиональную квалификацию своих авторов.

Неоинституциональная теория организаций говорит нам, что эти различия в измеримости эффективности порождают совершенно разные организационные структуры. Несомненно, они производят и различные системы статусных символов. Второе обстоятельство заключается в том, что индивид, курирующий символ, ставит на того, кому он этот символ доверяет, не только свое имя, но и свои деньги. Преподаватель одного из социологических факультетов как-то пожаловался мне, что его декан «берет на работу подружек сыновей своих приятелей». Подозреваю, что приятели должны быть очень близкими, а сыновья и подружки — очень любимыми, чтобы обеспечить кому-то таким путем место, скажем, старшего бухгалтера.

Некоторый контраст с двумя предыдущими текстами представляет собой статья Катерины Губы, которая приводит результаты своего исследования журнальной системы российской социологии, а также анализ работы группы, стоявшей за созданием Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Существующая практика цитирования делает его подсчеты весьма спорным предприятием: авторы предпочитают публиковаться в «своих» (т.е. принадлежащих тому же учреждению) журналах и ссылаться на других авторов, публикующихся там же. Каждое периодическое издание, таким образом, представляет локальную группу авторов, и решающим голосом в присвоении индекса цитирования его членам обладает тот, кто решает, включать или не включать данный журнал в базу.

Тем не менее Губа видит в усилиях создателей РИНЦа основания для осторожного оптимизма. Действительно, не так слож-

но предусмотреть меры, которые сделали бы подобные примитивные «цитатные картели» невозможными: достаточно решать вопрос о включении или исключении издания на основании количества ссылок на публикации в нем, появляющихся в других изданиях, — импакт-фактора без учета институционального автоцитирования. Это сделало бы для редактора конкретного издания крайне невыгодным публиковать постоянно членов одной и той же сети, не отдающей свои статьи никуда больше. Напротив, выигрышной стратегией было бы привлекать понемногу публикаций от членов как можно большего количества разных локальных сетей. Статья печатаемого и читаемого автора, который в дальнейшем мог бы и сам на себя сослаться в другом издании, и других заставить сделать это, стала бы ценным приобретением для журнала.

Преследуя свой интерес в привлечении подобных статей, редакторы бы производили более жесткую селекцию текстов на основании их цитабельности, а не географической и социальной близости авторов, и невольно способствовали бы тому, чтобы индексы цитирования становились менее зависимы от исходного решения о включении или невключении издания в базу. В этих условиях индивидуальный индекс цитирования стал бы более устойчивым, а способность писать интересные для широкого круга коллег статьи начала бы свое превращение в ценный актив.

Наконец, Елена Здравомыслова ставит общий вопрос о желательности вмешательства государства в управление наукой. В отличие от предыдущих авторов, которые — как и я сам — предпочитали описывать поведение ученых в терминах утилитарного интереса, она указывает на важность профессионального этоса и ценностей интеллектуальной независимости. Здравомыслова не согласна с тем, что ученым надо стараться помочь чиновнику, который занимается реформированием науки. Напротив, достойной задачей для ученых является как раз достижение независимости от государства, при которой им бы просто не было до чиновников дела. Профессиональный авторитет в этих условиях, возможно, никогда не будет консолидирован, но это не так уже и страшно: возникнут замкнутые сообщества ученых (она предполагает, что это будут социологи, ориентированные на поддержку государственной идеологии, и критически настроенные по отношению к ней интеллектуалы), которые внутри своих социальных кругов достигнут определенного консенсуса по поводу статуса каждого из них.

Это замечательный идеал. Беда в том, что для социологии как научной дисциплины (и для этнологии, истории и всех остальных) он, видимо, мало реализуем — в российских условиях ме-

нее чем где-либо еще. Современные научные дисциплины со своими журналами, центрами профессиональной подготовки и тысячами членов могут достигнуть автономии от государства только двумя путями. Во-первых, за счет профессионализации в узком смысле этого слова, перехода на экономическое обеспечение за счет оказания услуг на контрактной основе индивидуальным и корпоративным клиентам. Этим путем пошли (частично во всяком случае) медицина, юриспруденция и экономика, обеспечившие себе надежные источники финансирования, независимые от госбюджета.

Социологи, однако, насколько мне известно, ни в одной стране не добились массового рыночного спроса на свои услуги. Социология везде оказывалась зависима от признания чиновниками в качестве университетской дисциплины (особенно там, где, как во Франции, государство доминирует в академическом секторе) и от поступающих от бюрократии заказов на проведение исследований (в том числе и американская социология, описанная одним из наблюдателей как «приложение к государству всеобщего благосостояния»).

Можно попробовать подсчитать, какое количество средств осталось бы в руках российских социологов, отбрось мы их источники, непосредственно контролируемые государственными чиновниками, российскими или западными. Вероятно, этого хватило бы на поддержку нескольких центров, проводящих опросы общественного мнения, нескольких групп, изучающих социальные проблемы на гранты частных фондов, и пары десятков исследователей, достаточно активно и хорошо пишущих, чтобы существовать на гонорары. Вся остальная социология так или иначе живет на государственные деньги.

Из этого не следует (для меня во всяком случае), что социологи должны верно служить тем, кто их содержит. В конце концов чиновники тоже платят нам не свои деньги. Но из этого следует то, что социальные ученые должны быть готовы отстаивать свои интересы в постоянных переговорах с государственной бюрократией. И автономия от нее может быть достигнута только вторым из оставшихся путей — через консолидацию профессионального авторитета, в ходе которой дисциплинарное сообщество монополизирует производство информации о статусе своих членов. Если чиновник вынужден смотреть на общество ученых их собственными глазами, то ему волею неволей приходится распределять ресурсы в соответствии с их представлением о заслугах.

Сергей Соколовский в своей исключительно познавательной для не-этнолога заметке описывает интеллектуальное состояние

русской антропологии, которую он находит отставшей от мировой науки на десятилетия. Далее Соколовский предлагает свои меры по совладанию с кризисом, отправной точкой для принятия которых должна служить трезвая оценка текущего состояния дисциплины. Эту оценку, по его мнению, должна дать комиссия, собранная из тех, кого сами ученые выдвинули в качестве своих наиболее компетентных представителей (сходную стратегию репутационного отбора предлагает и Здравомыслова).

Соколовский приписывает мне уверенность в том, что ученые «на самом деле» знают, кто чего стоит. Я согласен с тем, что каждый из них это знает, но только то, что знают одни, редко совпадает с тем, что знают другие. Процедура отбора членов такой комиссии будет исключительно *path dependent* — первая наугад определенная точка определит всю остальную траекторию. Легко себе представить, кто окажется в комиссии, если снежный ком покатится со стороны, скажем, уже упоминавшегося профессора Добренькова.

Парадоксальным образом, даже обязательное приглашение западных ученых в подобный орган не гарантирует того, что он будет ориентироваться на профессиональные стандарты, способные встретить у большинства вероятных читателей этой статьи понимание. Как все интересующиеся могли узнать из блогов несколько дней назад, в ответ на критику повстанцев из OD-group, осуждавших декана соцфака МГУ за разрыв связей с интернациональной наукой, Добреньков по совету профессора того же факультета Александра Дугина пригласил выступить перед учащимися «известного современного философа» Алена де Бенуа, лидера французских Новых Правых...

Алексей Елфимов в своем обзоре дает русской этнографии/антропологии сходные оценки. Описывая свойственные ей институциональные формы, он задается вопросом о том, уместно ли вообще понятие «рынок» для ее описания. Это наводящее на интересные мысли замечание. Я бы ответил, что уместно — но только в качестве общей теоретической рамки, которая позволяет изучить любого рода взаимодействие как рыночный обмен.

При этом Елфимов, безусловно, прав, когда указывает на то, что рынок труда в современной русской этнографии (и, добавлю от себя, социологии) по большей части имеет очень мало общего с открытым капиталистическим рынком труда, по которому мобильная рабочая сила постоянно перемещается в поисках занятости и большей заработной платы. На этом рынке доминируют бюрократические корпорации, за контроль над ключевыми позициями в которых борются патримониальные

кланы, квазиполитические партии и другие персонажи веберовского бестиария. Распределение символов академического статуса превращается в продолжение борьбы между подобными группами другими средствами, иногда минуя даже ритуальные попытки придать процессу видимость интеллектуальной конкуренции.

Елфимов предлагает упразднить всю систему девальвировавших символов, предоставить руководству научных организаций больше свободы в определении размеров заработной платы сотрудников и стимулировать географическую мобильность академического персонала. С каждой из этих мер по отдельности я абсолютно согласен как с назревшей и необходимой. Но их одновременное применение в науке, в которой преобладают вышеперечисленные организационные формы, способно привести к кадровым последствиям, о которых мы все горько пожалеем (Елфимов сам указывает на это). Что именно сдержит в таком случае немедленное наполнение всех академических институтов «подружками сыновей приятелей», а заодно самими сыновьями и приятелями — особенно если те смогут получить более высокооплачиваемые позиции, чем светящие им в настоящее время ставки ассистентов кафедр 11 разряда?

Елфимов видит основания для оптимизма в постепенном численном росте российской науки. Здесь я вынужден не согласиться, по крайней мере в том, что касается социологии. Мы не всегда осознаем, насколько огромны наши социальные науки. С точки зрения численности, количества выдаваемых ежегодно степеней, факультетов и периодических изданий, российская социология — одна из трех самых больших в мире. По большинству этих показателей она уже примерно в два раза превосходит британскую и только по некоторым уступает германской. Нет надежды, что дальнейший численный рост автоматически приведет к каким-то улучшениям (фактически, мне кажется, спад мог бы иметь существенно более благотворное воздействие).

Владимир Волохонский предлагает обзор статусной системы современной российской психологии — случая в контексте этой дискуссии исключительно интересного. Психология гораздо ближе к классическим либеральным профессиям, чем обсуждавшиеся до сих пор социальные науки: большая часть людей, считающих себя современными российскими психологами, предлагают свои услуги не-академическим клиентам на открытом рынке труда.

В связи с этим обстоятельством или нет, но академическая психология в интерпретации Волохонского оказывается гораз-

до ближе к консолидированной дисциплине, чем социология или этнология. Несмотря на это, в ней преобладают скорее синкретические учения, удивляющие своей эклектичностью, чем стройные теории того типа, который мы привыкли видеть в учебниках. Это наблюдение согласуется с тем, о чем писал Гельман: стройные теории рождаются в борьбе за жизнь с другими теориями, а этой борьбы нет без конкуренции их сторонников на рынке академического труда, который для психологов устроен примерно так же, как и для всех прочих. Конкуренция в области частной практики не решает задачи по интеллектуальной селекции.

Несмотря на эти наблюдения, Волохонский оптимистичнее большинства участников дискуссии, и он едва ли не единственный, кто предлагает нашему воображаемому чиновнику рецепт, в возможность следования которому реальными чиновниками сам верит. Рецепт состоит в том, чтобы просто влить в существующую систему больше денег и надеяться на то, что среди множества плевел найдутся и хорошие всходы. Это, может быть, не самое эффективное расходование бюджетных средств, но за отсутствием более совершенной системы их распределения сойдет и оно.

Соображения Волохонского возвращают нас к реплике Питера Ратленда, который завершает ее вопросом: считаю ли я, что, несмотря на все описанные выше дефекты их сообществ, российские социальные ученые способны производить значительные работы? Опираясь на все сказанное выше, я отвечаю: хотел бы оказаться неправ, но скорее нет, чем да. Здесь я согласен с Гельманом и не согласен с Волохонским. Исследования науки последних десятилетий продемонстрировали, что образ ученого как одинокого искателя истины требует существенных корректив. Новые теории не создаются в изоляции. Они всегда есть результат социального процесса и в некотором роде всегда производятся не только индивидом, который перенес их на бумагу, но и всем сообществом ученых, незримо присутствующих в них как потенциальные оппоненты, контраргументы которых автор готовился встретить, или потенциальные сторонники, чьи восторги он хотел заслужить. Следуя очень старой идее Дюркгейма, мы должны признать, что формы мысли всегда повторяют социальные формы и наоборот. Стагнация социальной мысли в России, о которой писали многие из авторов, есть следствие той социальной организации академического мира, что мы наблюдаем сегодня. Только структурные изменения позволят нам сойти с мертвой точки.

Спасибо всем, кто принял участие в этой дискуссии.

Сентябрь 2008 г.